

ТАТЪЯНА ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК

ТАТЬЯНА ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК

ТЕАТР В МОЕЙ ЖИЗНИ

Мемуары московской фифы

Москва
АСТ

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
Щ58

Щепкина-Куперник, Т.А.
Щ58 Театр в моей жизни. Мемуары московской фифы. — Москва: АСТ, 2015. — 480 с. — (Женский портрет эпохи).

ISBN 978-5-17-090081-7

Антон Павлович Чехов поставил у себя на камине ее портрет в бальном платье и с веером и на нем написал «Lisez Scherkin-Coupernic!» («Читайте Щупкину-Куперник!») — в подражание знаменитому адвокату и литературному критику Урусову, который так обожал Флобера, что, когда у него попросили для благотворительного сборника автограф — написал по-французски под своим портретом «Lisez Flaubert!».

Чехов называл ее «великой писательницей земли русской», но для потомков Татьяна Львовна Щепкина-Куперник запомнилась, прежде всего, как автор классических для своего времени переводов как Лопе де Веги, Уильяма Шекспира, Педро Кальдерона, Джона Флетчера, Жана Батиста Мольера, Карло Гольдони, Ричарда Бринсли Шеридана. С ранних лет правнучка великого русского актера Михаила Щепкина была частью артистической московской жизни. Картина литературной и театральной жизни Москвы в конце XIX — первой четверти XX в. живо запечатлена в её мемуарах «Театр в моей жизни».

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

ISBN 978-5-17-090081-7

© Щепкина-Куперник Т.А., наследники, текст
© ООО «Издательство АСТ»

Глава первая

М. С. ЩЕПКИН

С первых дней моего детства, с той минуты, когда я впервые осознала свое «я», не помню такого времени, когда моя жизнь не была бы озарена магией театра. Может быть, это объясняется тем, что в семье моей матери — семье Щепкиных — все было близко театру. В нашем роду сохранялся культ Щепкина — мы все гордились и гордимся нашим великим предком. И гордиться есть чем. Щепкин, начавший свое учение «у дьячка за полтину денег и горшок каши», был одним из первых русских актеров, заставивших русское общество изменить свой взгляд на актера как на «комедианта», созданного на потеху праздной толпы, и начать уважать актеров как носителей высокий культуры. Он сумел по-настоящему привлечь к себе русскую интеллигенцию и слиться с ней. Он был не только великим артистом, но и воплощением лучших начал человеческого духа. Этот бывший раб страстно любил свободу; его «свободомыслие» пугало театральное начальство, и кружок его друзей внушал «подозрение в благонадежности». Щепкин был великим новатором, коренным образом изменившим сцену. Он заменил ложный пафос и искусственную читку, царившие до него на сцене, подлинным реализмом, Живой народной речью, ввел, по выражению Ф. Кони (известного критика и издате-

ля театрального журнала «Пантеон»), «вместо пластического проявления — духовное проявление». Сам выйдя из недр народа, в совершенстве знавший его язык и психологию, Щепкин был первым истинно *народным* артистом, искусство которого доходило до всех зрителей без исключения. По признанию покойного К. С. Станиславского, заветы Щепкина легли в основание всей его системы. Эти заветы, переходившие от учеников великого актера к их ученикам, преемственно хранились на сцене Малого театра, и до сих пор щепкинская традиция живет на сцене в лучших ее представителях. Вся театральная Россия гордится этим именем. В 1938 году было отмечено по всему Союзу семидесятипятилетие со дня его смерти, и о Щепкине говорили с такой взволнованностью и теплотой, как будто только недавно пережили его потерю.

Хотя моего прадеда давно не было на свете, когда я родилась, но с первых дней моего существования «дедушка», как называла его моя мать, был для меня чем-то родным и близким. Этому помогали рассказы матери и тетки, помогал и стоявший у нас его бюст работы Опекушина, до сих пор хранящийся у меня, прекрасно передающий, по словам близких, все обаяние его умного, тонкого и доброго лица.

В Москве, куда я приезжала часто подростком и куда совсем переехала, окончив гимназию в Киеве, я встречала еще многих, лично знавших Щепкина. Среди них были его любимая ученица Н. М. Медведева, артистка А. И. Шуберт, режиссер Малого театра С. А. Черневский.

Из родственников Щепкина были тогда еще живы двое его сверстников: брат Абрам Семенович, доживший до девяноста лет, и невестка, жена сына Николая Михайловича, Александра Владимировна. Они жили в доме одного из ее сыновей. Я помню как сейчас небольшой деревянный особнячок, по-московски уютный, с антресолями, лесенками и чуланчиками, в котором жила большая, дружная семья. Абрам Семенович был небольшого роста, совсем белый старичок, с нео-

бычайно добрыми глазами. Он был старый холостяк, кандидат Московского университета. Своей семьи у него не было: ее заменила ему семья брата. Сперва племянники, потом их дети и, наконец, их внуки, которых он дождался; все любили его, привыкли на него смотреть как на неисчерпаемый источник интересных сказок, самодельных игрушек, поездок «верхом» на его плечах... В его спартански простой комнатке стоял шкаф с книгами в самодельных переплетах, сплошь исписанными его мелким почерком, и, когда дети спрашивали его, что такое в этих книгах, он серьезно отвечал им, что он «сочиняет новый язык», и это производило на них сильное впечатление. Почему-то из его рассказов запомнился мне один, как он в молодости постоянно видел го сне, что он делает какие-то великие открытия, долженствующие спасти человечество, — ни более ни менее. Но на утро он никогда не мог вспомнить, в чем было дело. Наконец он решил положить с собой рядом бумагу и карандаш с тем, чтобы, если проснется ночью, сейчас же записать свою мысль. Действительно, это удалось ему: ночью ему приснилось что-то необыкновенно значительное, он записал это лихорадочно — и тут же заснул крепчайшим сном молодости. Проснувшись утром, он с волнением увидел, что на бумаге что-то записано, — само изречение, конечно, испарилось из его памяти. Он радостно схватил листок — и прочитал: «Воздух сух, как гвоздь...»

Надо ли говорить, что с тех пор он больше своих снов не записывал? Я живо представила себе его разочарование — может быть, потому, что мне тоже постоянно снились какие-то удивительные сны, которых я не могла запомнить, проснувшись, и его рассказ вызвал во мне полное сочувствие. Ничего великого ему совершить не удалось, но жизнь свою он прожил мирно и благополучно, самой верной нянькой для внучат был их любимый «Абатя», как они его звали. Он ходил в мягком тулупчике и валенках, которых не снимал и в комнатах, вроде деда Мороза, и таким и остался в памяти.

Александру Владимировну я помню худенькой, достойной старушкой, с тонкими чертами лица и маленькими руками, в неизменной черной кружевной наkolке. Помню старомодный грациозный жест, с каким она держала в руках старинную хрупкую чашечку, чем-то напоминавшую ее самое. В доме сына у нее был свой флигель и девица-компаньонка. Все относились к ней с величайшим почтением, и каждое ее слово ценилось. Она была из культурнейшей семьи Станкевичей. Брат ее, Николай Владимирович, остался в истории русской литературы как глава знаменитого в свое время философско-литературного «кружка Станкевича». Он окончил словесный факультет Московского университета и сам писал главным образом стихи, но, как пишет С. Венгеров, «в качестве писателя он не имел значения, однако наложил печать свою на целый период русской литературы». Он был человеком редкой нравственной красоты и обладал тонким критическим чутьем. Умер он молодым — двадцати семи лет, и имя его стало знаменем для молодого поколения 40-х годов, боровшегося с реакционными крепостническими взглядами. Среди участников этого кружка были Белинский, горячо любивший Станкевича, Аксаков, Грановский, посещали его Тургенев и Герцен. К этим людям 40-х годов принадлежала и Александра Владимировна, находившаяся под большим влиянием своего брата. Понятно, с каким благоговением я подростком смотрела на эту старушку, имевшую счастье близко знать людей, имена которых мне казались легендарными. Ее воспоминаниям я очень обязана тем, что могу себе живо представить быт и семейную жизнь Щепкина.

Всем интересующимся историей русского театра известно, как из маленького крепостного дворового мальчика выработался величайший артист русской сцены, именем которого и сейчас называется Малый театр — «Дом Щепкина», как во Франции театр Французской Комедии называется «Домом Мольера».

Поэтому на фактах его биографии я задерживаться не буду — остановлюсь только на самой трагической странице из жизни Щепкина, которая, в общем, в дальнейшем протекла мирно, в патриархальном укладе и серьезном труде. Эта страница является одной из самых трагических для истории русского театра. Это — время, когда Щепкину, тогда уже знаменитому артисту, не удавалось получить «вольную». Как трудно в наши дни, и особенно молодежи, понять и представить себе, что артист, имя которого гремело по всей России, который был гордостью Москвы, совестью театра, которому платили огромные по тем временам деньги за гастроли и которому шел уже четвертый десяток, мог быть *продан* со своей культурной и образованной семьей как лошадь или собака! Что о нем могли торговаться, объясняя, что «он дает большой доход», и рассчитывали, во сколько можно оценить его семью — всех этих будущих профессоров, общественных деятелей и артистов! Когда публика, в виде *бенефисного подарка*, хотела выкупить его по подписке, то для того, чтобы удовлетворить аппетиты его «гуманных» владельцев, не хватило некоторой суммы. Тогда князь Репнин «великодушно» внес недостающие деньги, но за это оставил *за собой* право на Щепкина.

Вот отрывок из письма Щепкина, относящегося к этому периоду:

«...в декабре Котляревский известил меня, что все кончено, и *купчая крепость* прислана князю. Эта весть так меня озадачила, что я не скоро собрался с духом спросить, какая крепость? Ведь меня князь *выкупал*, а не *покупал*? Наконец решился спросить и в ответ услышал вот что: «Это, — говорит, — сделано по необходимости. Опекун спрашивал разрешения для продажи, следовательно, и акт должен состояться в той же форме; к тому же, князь прибавил своих 3000 р., которые ты и обязан заслужить». Только три года спустя Щепкин, наконец, получил возможность откупиться — и вздохнул свободно.

Когда Щепкин переселился в Москву и обосновался там, его скромный дом сразу стал приютом лучших людей того времени.

Я успела еще с матерью побывать в последнем доме, где жил Щепкин в Москве, — на 3-й Мещанской улице, где сейчас по широкой, залитой электричеством асфальтированной трассе мчатся бесчисленные автомобили и где тогда была окраина Москвы, с маленькими домишками, утопавшими в садах, где редко-редко извозчик проедет или пройдет разносчик, выкрикивавший: «Патока с имбирем, варил дядя Симеон, тетушка Арина кушала-хвалила...» Такой разносчик — старенький, замерзший — приходил в дом Щепкина, его усаживали на лежанку, поили чаем — у Щепкиных угощали всех, кто бы ни пришел в дом, — и детвора, слушая его песенки, лакомилась его сбитнем. Просторный дом с мезонином, с большой террасой и садом, где шумели развесистые березы и цвела сирень и кусты малины, смородины и крыжовника, точно где-нибудь в деревне. Я бродила с матерью по саду, по дому и из ее рассказов ясно восстанавливала картину щепкинской жизни. Прямо из передней — небольшой зал, он же и столовая, где к обеду садилось не меньше двадцати человек одних «чад и домочадцев», затем — голубая гостиная с штофной мебелью, расставленной по-старинному: диван, перед ним стол, кругом кресла, а в простенках «горки» с подношениями от публики, серебряными чарами и пр. Затем диванная с ходом на террасу, а налево из передней — кабинет Щепкина, служивший ему и спальней, потом другие комнаты, с девичьей в конце коридора. И наверху — «детский верх» и «старушечий верх». Всем этим домом кротко и мудро правила Елена Дмитриевна, жена Михаила Семеновича, которую он звал «Алеша».

Во время турецкой войны в Анапе, в пылавшем дворце паши, солдаты нашли крошечную девочку и, сжалившись над ней, спасли ее. Их командир, генерал Чаликов, взял девочку на воспитание, и у него, как Пердита

из «Зимней сказки», она счастливо прожила всю свою юность. Где-то в Курске она встретила Щепкина, тогда еще крепостным актером. Она полюбила его и — свободная девушка — не побоялась связать с ним свою жизнь и до самой смерти была ему верным другом и помощницей. Когда она была уже взрослой девушкой, — говорит наша семейная хроника, — в Москву приезжали «две туркини», разыскивая девочку, пропавшую в Анапе. Возраст, приметы, родинки — все совпадало, но Елена Дмитриевна сказала, что ее родина — здесь, и отказалась покинуть Россию. Ее портрет кисти Тропинина хранился в Русском музее в Ленинграде. Это была милостивая женщина, с нежным ртом и красивыми темными глазами, очень маленького роста. Происхождение в ней сказывалось разве в том, что она любила сидеть, поджав ножки, да была очень равнодушна к сладостям, в остальном это была совершенно русская по духу и воспитанию женщина. Как и Щепкин, она отличалась большой добротой.

Щепкин умел любить людей — может быть, потому, что сам много перестрадал. Пережитые им годы рабства оставили в нем глубокий след, и он исключительно горячо откликался на пережитое горе.

Тогда еще не было театральных убежищ, домов для ветеранов сцены, и не одного «отыгравшего» Щепкин спасал от нищеты и одинокой старости.

Частенько приходил он к жене расстроенный и говорил ей:

— Встретил такого-то (или такую-то)... Совсем одинок, бедняга, и жить негде... Не взять ли нам его к себе, Алеша?

— Ну, что ж, возьмем, — отвечала Елена Дмитриевна, всецело сочувствовавшая мужу, — потеснимся... и брали. Дом всегда был как будто резиновый: место как-то находилось. Михаил Семенович начинал курить подешевле табак, детям давали меньше гостинцев — и новый член семьи оставался до смерти на иждивении Щепкина.

Стоит бегло перечислить хотя бы нескольких обитателей «старушечьего верха». Жила там прежде всего сестра его Лизавета Семеновна с мужем, бывшим режиссером Малого театра, прозванным за свои длинные усы «дядей Усей». Жила сестра покойного трагика П. С. Мочалова, бывшая провинциальная трагическая актриса М. С. Мочалова-Франциева. Когда-то она была красавица, к старости сохранила величавость и важность своих героинь. Щепкин особенно любил ее, звал «Трагедия» или «Антигона», и часто приветствовал какой-нибудь фразой из старинной трагедии: «Идем, дочь нежная преступного отца...» Она сейчас же протягивала старо-классическим жестом руку и подхватывала реплику. Этой величественной женщины побаивалась детвора, но, узнав ее слабое место — трагическая королева до ужаса боялась мышей, — иногда врывается к ней в комнату с криком «мышь, мышь!», доводя бедную чуть не до обморока.

Жила наверху старушка — мать рано умершего актера и поэта Цыганова, автора песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...», поющей и по сей день. Затем беленькая, розовая старушка с серебряными волосами и голубыми глазками, которую прозвали «баба Беленька», какая-то отравная актриса. Потом знаменитый Пантелей Иванович, Рассказ Щепкина о котором, как говорят, вдохновил Островского на создание Любима Торцова. Пантелей Иванович — театральные парикмахер, которого Щепкин знал давно. Как-то раз, приехав в Харьков, Щепкин увидел около театра своего знакомого, обшарпанного, оборванного, — полицейский солдат вел его на веревке, чтобы посадить в «Яму» — долговое отделение. Старик со слезами поведал Щепкину про свою беду. Щепкин отправился к своей Алеше, рассказал ей про встречу с Пантелеем Ивановичем. «Выкупим его, Алеша?» — «Ну, что ж, выкупим!» — отвечала Елена Дмитриевна, как всегда в подобных случаях, и Пантелей Иванович поселился у них. В доме все его полюбили, особенно детвора. Человек он был тихий, парикмахер иску-

сный — Щепкин всегда был доволен его работой. Но вот беда: Пантелей Иванович запивал. Как получит жалованье (Щепкин его устроил в театре), так и пьет, пока все-го не спустит. Щепкину надоело с ним биться, и он сказал жене:

— Надо, Алеша, сыграть с ним комедию: постращаю его!

Он пришел к Пантелею Ивановичу и сказал ему: «Ну, Пантелей Иванович, я для вас все сделал, что мог, но вы так себя ведете, что нам жить с вами больше не приходится. Прощайте, Пантелей Иванович». Тот не ответил ни слова, взял свой «болван» для париков и ушел из дома. Вечером в театре он стоял уже со своим болваном в уборной Щепкина, но тот остался тверд: поручил другому парикмахеру причесать себя. Три месяца он выдерживал его. Тот перестал пить и только бродил как тень около уборной. Наконец Щепкин заявил жене, что пора с Пантелеем Ивановичем помириться. «Жалко мне старика». Приехав в театр, он ласково сказал Пантелею Ивановичу: «Причешите-ка мне, Пантелей Иванович, паричок!» «Как залетя, как зарыдает мой старик! — рассказывал Щепкин. — Взял парик, а руки так и дрожат... Тут мы с ним и помирились: переехал он снова ко мне на житье и уж больше никогда во всю жизнь свою не запивал, а такой безграничной преданности, какую он питал ко мне и ко всему моему семейству, я ни от кого не видал».

Когда Садовский сыграл Любима Торцова, Щепкин, вспоминая своего Пантелея Ивановича, говорил, что Садовский, хотя превосходно выражает комическую сторону Любима Торцова, недостаточно оттеняет в своем Любиме то, что было в Пантелее Ивановиче, — ту искру человеческого достоинства, которая этому падшему человеку помогла подняться и выйти на правый путь.

Всех своих старушек Щепкин баловал, журил, мигрил, звал «мои резвущики», играл с ними в безик и кабалу, а никто из них не чувствовал, что они живут у него «на хлебах из милости».

Елене Дмитриевне трудно было бы справиться с такой огромной «семьей», если бы в доме не было «Тахамочки». Т. М. Аралова была дочерью домовладельца, у которого Щепкин поселился по приезду в Москву. Дела ее отца пришли в расстройство, дом и имущество продали за долги, и тогда Щепкин предложил ему, что он возьмет на воспитание его старшую дочку, подругу дочерей Щепкина, девочку лет двенадцати. Так она и осталась на всю жизнь в щепкинском доме. Это была тихая, молчаливая девушка, очень большого роста, с большими руками и ногами и с большим сердцем, в котором помещались все Щепкины. Все горести, радости, болезни Щепкины переживали на ее мощной груди, у ее любвеобильного сердца. Елене Дмитриевне она была незаменимой помощницей. Когда смертельно заболел старший сын Щепкина, Дмитрий, выдающийся молодой ученый, и врачи решили, хватаясь за соломинку, отправить его на остров Мадейру, родители, побоявшись отпустить сына одного, попросили Тахамочку сопровождать его. Так же спокойно, как она ответила бы на предложение повезти детей в Сокольники, она отвечала «хорошо» и отправилась с больным. Она самоотверженно ходила за ним, но поездка не помогла, и он умер на ее руках. Она вернулась в Россию. Одна, не владея языками, проехала через всю Европу да еще привезла с собой двух маленьких белых испанских пудельков «Чучо» и «Мучачу», «которых Митя любил». Они всю жизнь так и ходили за ней по пятам. Надо знать, что значило больше ста лет назад путешествовать (не было железных дорог, в пути встречались всевозможные опасности, приходилось переживать лишения и трудности), чтобы понять, какой дух был в этом некрасивом теле. Недаром все в доме ее любили и не представляли себе жизни без нее.

Кроме разных стариков и старушек, в доме Щепкина жило множество молодежи. Детский верх не пустовал никогда: кроме своих собственных детей, а потом внуков, Щепкин содержал сперва семью своего умершего

товарища по сцене Барсова в количестве семи человек, которые прожили у него в доме больше двадцати лет, потом детей декабриста Якушкина; кроме них беспрестанно появлялись новые лица, остававшиеся в семье Щепкина кто месяц, кто год.

Жил у него знаменитый впоследствии артист С. В. Шумский. Постоянно гостили Г. Н. Федотова, Н. М. Медведева. Последним, кто попал к нему, был известный М. В. Лентовский, которого Щепкин вызвал к себе, получив от него письмо с просьбой помочь ему стать актером. Мальчику было шестнадцать лет; Михаил Семенович послал ему денег, затем поместил у себя, пригрел его и полюбил. Так как все углы в доме были заняты, то ему поставили кровать в кабинете Щепкина. Мальчика с горячей душой, но дикого, как волчонок, не взлюбили внучата Щепкина, приревновав его к деду, и часто изводили его. После какой-то детской истории, в которой вспыльчивый Лентовский столкнул с террасы издевавшегося над ним приятеля маленьких Щепкиных, дети думали, что Мише сильно достанется. Тут — по рассказу моей тетки А. П. Щепкиной — им впервые пришлось увидеть их добряка-дедушку суровым. Он с грустью и строгостью стал говорить им, как они неправы, притесняя Мишу, который пользуется их гостеприимством, как ему должно быть тяжело у них и что они должны поставить себя на его место. «Как я помню его строгое и вместе печальное лицо, его в душу проникающий голос — говорила Александра Петровна. — Слова деда были хороши и убедительны и сами по себе, но я уверена, что и талант сыграл тут немалую роль — так это было сказано, что до сих пор не забыть». Как ни был занят Щепкин, он находил время следить за всем, что делалось в его семье, и своим умным и добрым влиянием всех согревал и направлял. И свои и чужие обращались к нему за нравственной поддержкой и лаской, и недаром его приятель — украинский литератор Максимович — так определял его: «Это дивно-милый че-